

Интернат на Ботанической только формально назывался домом престарелых: кроме дедушек и бабушек там жили и молодые выпускники детских домов, имевшие инвалидность. Бывших детдомовцев руководство интерната заселяло на второй и особенно третий этажи, а старикам достались левое крыло второго и весь первый.

Попала я в этот интернат практически случайно. Никого из родных у меня там не было, и, более того, их не было рядом вообще – я недавно развелась и вместе с четырёхлетним ребёнком переехала в чужой город. Я перебивалась надомными подработками и еле сводила концы с концами, чтобы снимать комнату. Не меньше безденежья меня угнетало одиночество. Единственным местом, куда я могла пойти и не чувствовать себя чужой, был храм – маленький, выкрашенный голубой краской, уютный и снаружи, и внутри. Я любила ходить туда

вместе с дочкой на вечерние службы и за несколько месяцев выучила лица служителей и прихожан. Эти люди мне стали казаться немного родными. Хотелось познакомиться с ними ближе, хотелось найти какое-нибудь общее дело, чтобы, вместе занимаясь им, мы скорее могли перемолоть горечь своих личных обид и потерь. И когда ранней весной одна бойкая женщина объявила, что нужны волонтеры в дом престарелых, я не раздумывая ни секунды, подняла руку.

Нас, добровольцев, набралось шесть человек — четыре женщины разных возрастов и двое молодых парней. Мы иногда помогали персоналу интерната по мелочи: подстригали бабушкам и дедушкам ногти, меняли бельё, споласкивали чашки. Но сами сотрудники в голос уверяли, что с подобными нехитрыми делами они хорошо справляются и сами:

- Это мы всё сделаем, это не проблема... Вы посидите да поговорите с ними лучше. Они ведь что хотят — пообщаться, а нам про всю их жись слушать — до второго пришествия не закончим.

Но общаться со стариками было непросто. Некоторые смотрели на наших с подозрением: ничего не требуете, даже в религию, как баптисты, не вербуете — что за люди такие?! Другие были очень туги на ухо, и приходилось чуть ли не кричать им в уши. Третьи и вовсе не слишком хорошо осознавали, кто они и где находятся... Однако уверившись, что люди мы безопасные, старики стали встречать нас доброжелательно и уж тогда говорили, говорили — вправду не переслушаешь.

Я ходила в интернат сначала к пожилому мужчине из Ангарска, которого потом забрал домой сын, потом — к самой настоящей влюблённой паре возрастом под семьдесят годов. Этих счастливых молодожёнов весной переселили в другой интернат, и я, казалось бы, могла больше не ездить на Ботаничку, но то ли привычка, то ли чувство долга привели меня туда снова.

Более того, в этот раз я решила спуститься на первый этаж, куда раньше почти не заходила. В нос мне ударил запах хлорки, которой здесь мыли полы, чтобы перебить тяжёлый старческий запах. Длинный коридор с кафельным полом заканчивался широкой белой дверью, которую одна остроумная старушка, бывшая учительница, поименовала вратами в мир иной. Через ту дверь не заходили ни гости, ни жители интерната, так что она в самом деле казалась каким-то зловещим тупиком, за которым хранилось страшное, секретной дверью из сказок, какую не смел отпирать никто из живых.

Растерянно озираясь в коридоре, я заглядывала в полуоткрытые палаты и гадала, куда бы мне войти. В одной из комнат на дальних койках сидели две чрезвычайно друг на друга похожие старушки с редким белёсым пухом вместо волос – ни дать ни взять божьи одуванчики. А на ближней...

Только завидев мою четырёхлетнюю дочку, она попыталась приподняться с кровати и растянула тонкие губы в улыбке:

- Иди ко мне, иди ко мне, внучечка.

Таня, привыкшая ко вниманию вообще и бабушек – в частности, тут же подбежала с раскрытой пачкой печенья. Протянула печенье в широкую ладонь с узловатыми пальцами.

- Спасибо, внучечка. Какая ты хорошая – я не вру. Честное слово.

Таня предложила печенье и двум другим старушкам. Они оказались немыми, и, промычав что-то (мне почудилось, неодобрительное), угощения брать не стали.

Я осторожно подошла к лежавшей у входа женщине.

- Меня Лена зовут.

- А меня Люда. Баба Люда – вот так ты меня и зови.

Угу?

Я кивнула.

- Ну, садись, раз пришла, - пожевав губами и пытливо оглядев меня, она пригласила сесть на край своей железной койки. - Слушай.

Я слушала долго. И в этот раз, и в следующее воскресенье, и в то, которое было потом. Казалось, что баба Люда молчала не то, что днями или месяцами – годами. Вставить мне хотя бы пару слов было решительно невозможно. Я иной раз пыталась что-то говорить в ответ, но это пока было не нужно: как тяжёлая глинистая земля долго не впитывает воду, так и баба Люда не могла впитать моих слов. Я подстригала ей ногти, расчёсывала волосы, убиралась у неё в тумбочке или просто сидела и молчала.

Она рассказывала мне об отце, который безумно ждал мальчика и поэтому всё детство называл её «сына», о муже Илье Ананьевиче, который родился раньше неё на двенадцать лет, за что она добродушно дразнила его «старинушка», о зверосовхозе и психбольнице (в первом месте трудилась сама баба Люда, во втором – Ананьевич), о своих дочках Анжеле и Ксении.

- Анжелка у меня родилась такая рыжая, кучерявая. Я как увидела её, думаю – вот те девка. А чё я её Анжелка назвала? Потому что был тогда этот фильм... Доча... как его?

- «Анжелика, маркиза ангелов», — догадалась я.

- Точно. А характером она у меня была такая...как тебе сказать... Стерва. С детства всё фыркала. Ну, зато красивая, ничё не скажу. И я её тоже любила. А Ксения у меня добрая была, ласковая такая...

«Где ж теперь твоя ласковая Ксения, баба Люда?» – поневоле приходило мне на ум.

Но баба Люда, кажется, совсем не думала об этом. Из всех историй, что она рассказывала (в общем-то, у неё всегда была единственная бесконечная история, из которой одно перетекало в другое), становилось ясно, что этот

человек прожил счастливую жизнь.

Она рассказывала мне много вещей, которые почти любой назвал бы неприятными, а то и страшными. Отец, который «жуть как любил меня», только однажды обратился к ней «дочка», до самой своей смерти так и видя в своём втором ребёнке вожделенного мальчика-наследника. В третьем классе он купил Люсе тёлку Рябинку в качестве живой игрушки, у которой потом десятилетней девчонке пришлось самой принимать роды, а папка пришёл только тогда, когда она, обливаясь потом и слезами, уже полчаса тщетно пыталась вытянуть ноги слишком крупного телёнка. А благоверный Илья Ананьевич, сколько-то немало лет отпахавший санитаром в психушке, за какую-нибудь дурацкую провинность мог взять да и выпороть её солдатским ремнём — да не просто так, а с чувством, толком и обязательными комментариями. Красивая Анжела в своё время выгнала бабу Люду из своего с мужем дома за неугодный характер и пристрастие к бутылке, а ласковая Ксения уехала и с концами пропала...

Но всё это дикое, тёмное, страшное, то и дело всплывая в рассказах бабу Люды, переплавлялось в её сердце и неизменно превращалось в воспоминание любви. В отличие от меня, ждавшей раньше каких-то идеальных отношений, Бабе Люде было уже совсем нечего ждать и нечего представлять. В июле её перевезли в двухместную десятиметровую комнатёнку с выкрашенными в болотный цвет стенами, и теперь всё, что у неё было — это узкая столешница и железная койка, с которой она привставала, только если кто-нибудь поддерживал её за высохшие посиневшие руки. Поэтому, наверное, она и могла позволить себе роскошь любить, несмотря ни на что.

На третьем и втором этаже дома-интернета жизнь шла бойко: там жила какая-никакая, но молодёжь, устраивались посиделки, концерты по праздникам, закипали ссоры и любовные страсти. На втором, где жили представители разных поколений, ссорились не меньше,

так же часто мирились, и могли утром быть друг другу врагами, вечером – самыми родными людьми. Первый этаж был пугающе тих, и каждый, кто впервые попадал туда, долго оставался под впечатлением от безжизненно-белого цвета кафеля, запахов хлорки и тлена. Но жизнь была и там, и не только в воспоминаниях.

Баба Люда любила жизнь. Даже говоря о каких-то своих ошибках, она не осуждала себя, только говорила, сияя карими глазами:

- Ну что поделаешь, такая уж я бессовестная.

Привыкнув ко мне и моему ребёнку, она стала смотреть на меня внимательнее, с живым, почти детским интересом. И сразу же начала называть «доча».

- Ты – моя доча. Я не вру. Честное слово. А это моя внучка. Правда?

Конечно, формальная правда заключалась в том, что передо мной была полусумасшедшая старуха, обречённая провести остаток своих дней на казённой железной кровати с вонючим матрасом, в убогой комнате с подслеповатой лампочкой, брошенная и забытая. И ещё была я, одинокая мать с висящим за душой банковским долгом, совершенно чужая женщина для обитательницы дома престарелых Прохоровой Людмилы Михайловны, ничем по факту не могущая ей помочь.

Но всё это стало абсолютно неважно. Мы с бабой Людой знали и другое – знали истину, в которой я на самом деле была её дочкой, и обе мы были прекрасны.

Потом она стала рассказывать мне уже не только давно былое, но и то, что происходило сейчас. И даже спрашивать меня:

- Ты сама как?

Однажды она встретила меня и как-то странно посмотрела:

- Слушай, доча... А где у тебя муж?

- На Парашютной улице, - ответила я первое, что пришло в голову.

Баба Люда выругалась по матушке.

- А какую холеру он там делает? Чё ко мне не приезжает?

Мне совсем не хотелось рассказывать ей невесёлую и довольно банальную историю своей распавшейся семьи, и я попыталась перевести разговор на другое, но баба Люда так и вцепилась в меня за рукав пальцами.

- Хороший он?

- Да... Хороший...

- Любит тебя?

- Я не знаю... Нет, наверное.

- Как ты не знаешь? Да он живёт с тобой?

- Нет... Давно уже.

- Ёж твою клёш. А чё ты раньше молчала? Я тебе всё про себя, про себя... Вот бессовестная.

Она развернула ко мне лицо и взяла мою руку в свою, может быть, приготовившись слушать. Но у меня не оказалось совсем никаких слов. Жаловаться не хотелось, ворошить прошлое – тем более. Я просто села внизу у кровати, обняла бабу Люду и прижалась лицом к её руке.

- Знаешь, ты такая красивая, - сказала я, когда наконец поднялась с пола.

- Ну да, - охотно согласилась моя «матушка», кокетливо приглаживая смолисто-чёрные пряди слегка вьющихся волос. — Мне бы вот ещё серёжки вставить, и совсем бы хорошо.

- У тебя же есть серёжки.

- А я ещё хочу. Золотые вставлю – во красотка буду! Доча, честно, я не вру. Тут у нас санитар новый, парнишка молодой – вот с золотыми серёжками-то я его это... охмурю! Скоро как раз должен прийти.

Мне хотелось пошутить вместе с ней:

- Не-ет, бабонька, если молодой и красивый – мне оставь!

Из коридора вдруг послышался сердитый мужской

голос:

- Вы что там, с ума сошли?! Я вообще-то медбрат, а не санитар!

Мы с бабой Людой в голос расхохотались.

Как и все мы, за свою жизнь баба Люда наломала немало дров. В детстве она дразнила старшую сестру-очкарика, грубила матери, прогуливала школу, потом – подворовывала из совхоза корма для своей скотины, выпивала так крепко, что могла иной раз не выйти на работу. Однажды она рассказала мне, что никогда не любила первого мужа, которого для неё нашли родители, и в конце концов изменила ему с тем самым санитаром Ильёй Ананьевичем, который вот-вот собирался жениться на бабы-Людиной подруге.

- А что поделаешь, такая уж я бессовестная, - повторяла она свою коронную фразу. — Сердцу-то не прикажешь. Так мы с ним и схлестнулись. Вот грех, конечно, а что делать? Счастливые были! Нельзя было иначе, да?

- Да, - согласилась я, и на ум мне пришли строчки из цветаевской «Бабушки»:

«Свистят скворцы в скворешнице,

Весна-то – глянь! – бела...

Скажу: – Родимый, — грешница!

Счастливая была!».

Однажды я спросила, верит ли она в Бога, и баба Люда ответила:

- Наверное, да, доча. А ты?

Я ответила, что верю, и молюсь Ему. Тогда она сама попросила меня:

- А как это ты молишься? Научи.

Из моих слов она поняла – можно говорить обо всём, что тревожит сердце, и складывала такую молитву:

- Господи, миленький... Как там мой Илья Ананьевич, передавай ему привет. И Анжелку с Ксеньей не

оставь, пожалуйста. Присмотри за ими, пусть они не пьют, не ругаются, хорошо живут.

В такую минуту она была очень сосредоточена. Но в другое время баба Люда редко бывала серьёзной. Часто даже подкалывала меня, как, например, в тот раз, когда я долго не могла отыскать в коридоре выключатель.

- Ну, ты какая-то глупая стала, доча. Надо тебе тут маленько со мной полежать, тут быстро человека в порядок приводят.

Я смеялась, где-то в глубине души осознавая, что и в самом деле когда-нибудь могу оказаться на месте бабы Люды, на этой её железной койке, и думать об этом оказалось не так страшно, как могло бы быть.

Она любила, когда я приходила вместе с Таней, и однажды, улыбаясь, сказала:

- На меня похожа.

Нельзя было понять – шутит она или вправду так думает.

Когда наступила осень, я принесла бабе Люде букет из багряных рябиновых листьев, пахнущего шоколадом топинамбура и бархатцев. Она с нежностью погладила лепестки цветов и попросила меня:

- Расскажи-ка, что там за окном дееся. Я осень люблю.

В последний свой визит я спросила у «матушки», какой гостинец привезти ей в подарок.

- Да что хочешь, доча, лишь бы из твоих рук. Но лучше всего – конфетку. Я ведь сладкое люблю... Ананьевич прятал от меня, ругался: не ешь много! нельзя тебе! А я ведь всё равно ела...

Она развела руками и выразительно с еле заметной улыбкой посмотрела на меня:

- Ну, что поделаешь, бессовестная...

Я ездила к ней два раз в месяц от самого начала лета вплоть до зимы, потом заболела на две недели, а после того ещё две недели не приезжала из-за каких-то дел. Когда в

конец декабря я появилась на первом этаже интерната и заглянула в знакомую комнату, бабы Люды там не было. На одной койке сидела высохшая старуха с птичьим лицом и задумчиво затягивалась папиросой. Другая кровать была пуста.

Оказалось, что с инсультом бабу Люду привезли в больницу, там она пробыла несколько дней и умерла. В доме престарелых каждые два или три месяца кто-то уходил на тот свет, и ничего сверхординарного тут не было.

Когда я вышла из дома престарелых на крыльцо, то вздрогнула от неожиданности: в пуховике, накинутом на белый халат, стоял тот самый медбрат, которого баба Люда когда-то назвала санитаром. Я поневоле остановилась рядом с ним. Танюшка убежала играть с белками.

- Она умерла легко. Вспоминала тебя, - сказал он мне, закуривая сигарету.

- Это хорошо, - ответила я, ничуть не удивляясь, что почти незнакомый человек называет меня на «ты».

- Придешь ещё сюда? - спросил он с улыбкой, но в то же время совершенно серьёзно.

- Приду, - пообещала я. - Через неделю, в субботу...

Падал снег, и мне казалось, что за его плотной завесой мелькают души всех людей, которые когда-то жили в доме-интернате, и, может быть, как я, встретили здесь близких людей, ставших даже роднее, чем родные. Впрочем, мне хотелось, чтобы и настоящие дочери бабы Люси вспомнили о ней, нашлись. А если не дочки, то когда-нибудь найдутся, придут на её могилку внуки от Анжелы или Ксении:

**- Вы ж, рёбрышко от рёбрышка,
Маринушка с Егорушкой,
Моей землицы горсточку
Возьмите в узелок.**